

ЭДУАРД ЛИМОНОВ



КНИГА МЕРТВЫХ-3 КЛАДБИЩА



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Книга мёртвых

Эдуард Лимонов

Книга мертвых – 3. Кладбища

«Издательство К.Тублина»

2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)6

Лимонов Э. В.

Книга мертвых – 3. Кладбища / Э. В. Лимонов — «Издательство К.Тублина», 2015 — (Книга мёртвых)

Эдуард Лимонов продолжает список своих покойников. Нарушая заповеданные табу (о мертвых – или хорошо, или ничего) и правила политкорректных слюнтяев, он не имеет снисхождения к ушедшим и спрашивает с них так, как спрашивал бы с живых – героям отдает должное, недостойных осуждает на высшую меру презрения. Память Лимонова хранит либо «горячих», либо «холодных» – в его мартирологе «теплым» места нет. Резкая, злая, бодрая книга.

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)6

© Лимонов Э. В., 2015
© Издательство К.Тублина, 2015

Содержание

Два кладбища (вместо предисловия)	6
В дождь	6
Прошлым летом, там, в Ленинграде	9
Федя	11
Таких больше не делают	16
Настоящий советский полковник	17
Константин Юрьевич	20
Однажды в Будапеште	23
Агроном	23
Великий польский	26
Советские песни над Дунаем	29
Мэри	31
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Эдуард Лимонов
Кладбища. Книга мертвых-3

© ООО «Издательство К. Тублина», 2015

© А. Веселов, оформление, 2015

* * *

Два кладбища (вместо предисловия)

В дождь

Когда-нибудь нужно было это сделать. Я-он ехал в «Волге» по харьковским улицам вслед за «шевроле» авторитетного бизнесмена, где рядом с бизнесменом сидел его друг – авторитетный полковник, что называется, земляки, друзья детства. Шел сырой, осенний с виду, хотя и теплый дождь. Я-он отправился на поиски могилы Анны Моисеевны. Вторая половина сентября 2007-го.

Ну да, когда-нибудь нужно было это сделать. Если судить по его-моим снам, то она этого хотела, чтобы он пришел, потоптался рядом, что-нибудь сказал, может, нравоучительное, а лучше жалостливое, может быть, даже отругал ее.

Вообще-то ей, если по старым церковным и моральным правилам, лежать на кладбище не полагалось. Она ведь была самоубийцей. Повесилась осенью 1990 года на ремешке от сумочки на улице Маршала Рыбалко. До такой степени жизнь ее достала. Но старые морально-церковные правила давно никем не соблюдаются, поэтому ее похоронили по-людски, со всеми, за семейной оградкой рядом с папой Моисеем.

Кладбище оказалось несколькими кладбищами. Он отирал запотевшие стекла рукой, чтобы взглянуть в окрестности. Плоские несколько городов мертвых пересекали их два автомобиля: «шевроле» и «Волга». Между плоскими городами мертвых, взятых в невысокие ограды, были проложены асфальтированные давным-давно дороги. Дороги были все в выбоинах и дырах, колеса автомобилей плюхались в дыры, брызги летели во все стороны. Рядом с ними и за ними такие же бедолаги, кладбищенские путешественники так же плюхались в те же дыры.

Наконец они добрались к воротам комплекса кладбищ, где были припаркованы несколько автомобилей. Завидя их автомобиль, из одного вылез телерепортер Сергей Потимков, с переднего сиденья, из задней двери вышел его оператор с камерой. А к «шевроле» уже спешили пассажиры сразу двух машин, ребята – «антураж» авторитетного бизнесмена.

Еще со вчерашнего вечера я-он знал, что эти две команды между собой не ладят. Команда авторитетного бизнесмена (он отсидел 27 лет в тюрьме, по словам полковника) и команда Потимкова. Им пришлось объединиться ради дорогого гостя (а это я-он) писателя на несколько часов, во время которых то стояла взрывная тишина. То слышен был скрип зубов, то приглушенные ругательства.

У них были общие нехорошие воспоминания.

Потимков, вроде, сделал телерепортаж, в котором нелестно отозвался об авторитетном и его антураже. За это, кажется, антураж встретил его в темном переулке и разбил ему камеру. А может быть, все было и не так, я не ручаюсь за точность своей памяти.

На первую половину дня, однако, их, непримиримых врагов, объединил он – дорогой гость. Вчера у его матери был день рождения, он приехал в город после многих лет отсутствия, поскольку украинские власти занесли его когда-то в черный список лиц, которым на Украину въезд был запрещен. Был, потому что в августе черный список был отменен. Этим решением властей Украины и объяснялось его присутствие в городе и на кладбище у ворот.

– Сейчас все найдем, – зычно сказал полковник. – У ребят тут все схвачено.

– Фактически мы тут владельцы, – сказал авторитетный бизнесмен, пожилой мужчина с темным, натерпевшимся тюремным лицом, в белой рубашке и черном галстуке.

Небольшой толпой они пошли к дверям одноэтажного крепкого кирпичного здания. Толпой, наверное, не то слово, потому что группа была организована. Внутри, в ядре ее, нахо-

дился авторитетный бизнесмен в кольце своих ребят, за ними шел я в сопровождении моих троих ребят, а все это удовольствие окружали еще раз люди авторитетного. Потимков с оператором было выдвинуты вперед и нацелились запечатлеть всех нас, но объектив закрыл ладонью шедший впереди старший парень авторитетного. Нет уж, нас не надо. Возможно, он бы разбил Потимкову еще одну камеру, когда авторитетный что-то пробурчал, и обошлось без инцидента.

В домике человек с бородкой чуть ли не согнулся вдвое, приветствуя авторитетного. Тот, перешагивая через порог, поднял полы длинного пальто.

– Здорово, Жора. Вот дорогой гость ищет могилу жены, умершей уже довольно давно, в девяностые. Найди нам могилу.

Авторитетный сказал это и ушел в сопровождении ребят в свой «шевроле». Полковник остался с нами.

Потимков воспринял уход авторитетного как приглашение к работе и тотчас втиснулся в помещение. На него посмотрели с неудовольствием, но изгонять не стали.

– Сейчас, сейчас, у нас все записано, – пробормотал Жора и, став на колени, открыл такой себе хлипкий сейф советского образца. Сказать «бородатый Жора» – подумают, что у него была борода, а на самом деле скорее бороденка, как у дьячка.

Сейф, как виделось с табурета, на который меня усадили, был полон старыми книгами. Пока Жора отбирал нужные, я осмотрел помещение. Все было по-казарменному, по-простецки, по-спартански убого и чистенько. В дальнем от окон углу горела под иконкой лампадка. Потрескивали дрова в старой печке, поскольку, хоть и конец сентября только, но от сырости. Настрадавшаяся поверхность стола, словно на ней ежедневно нарезали овощи и мясо. Запах у помещения был, невзирая на горящую печь, такой затхловатый, старостью и убогостью отдавал, запах, присущий монастырю и тюрьме, или казарме, но вот такой он оказался присущ и кладбищенской сторожке.

Жора выложил на стол свои кладбищенские gross-буки в количестве четырех и стал искать. Точной даты захоронения Анны Моисеевны Рубинштейн я ему дать не мог, и тем более не знал даже года смерти Моисея Рубинштейна, в оградку которого она была подселена. Так что задача оказалась не такой простой.

Gross-буки впечатляли своей толщиной и размерами. По формату они были такие софее-able книжищи, а по толщине, ну, были, кажется, как две Библии. Читать их следовало, раскрыв на разворот. Каждый мертвый укладывался в одну строку на разворот. Вначале – фамилия, имя, отчество, год рождения и полная дата захоронения. Дальше строка сообщала адрес мертвого на кладбище и фамилию ответственного за могилу.

От книг пахло сыростью и затхлостью. Желтые плотные страницы со следами отпечатков пальцев кого-то, кто усердно листал похоронную книгу, слюнявя пальцы, чтобы удобнее было листать.

Жора с полчаса честно водил пальцем по строкам книги смерти. Время от времени переспрашивал фамилию, и даже осведомился, какая у нее была девичья, может, под девичьей похоронили. Я сказал, что Рубинштейн – это девичья, и другой она никогда не брала.

– Давайте вы, может, у вас глаз зорче, – Жора отодвинул книгу ко мне, и я, найдя ноябрь 1990-го, стал вчитываться в захороненных той поры.

В ноябре умерли и были захоронены как старые люди, так и совсем не старые. Определить программу, по которой действовала смерть, было бы возможно, я думаю, если ввести эти данные в соответствующий сильный компьютер. Я же лишь подивился широкому диапазону смерти, она скашивала своей косой и молодых, и старых, вне всякой логики.

Похоронная книга это вам вещь страшнее любого Шекспира. Еще и запах плесени и сырости, такой запах у времени.

Мы тогда не нашли ее могилу. И поехали сквозь дождь в пригородный ресторан. Без Потимкова и его оператора.

Через полтора года мне позвонил в Москву именно Потимков. Он нашел могилу. Она находится недалеко от старого входа на кладбище.

Мы бы ее непременно нашли еще в тот мой приезд в сентябре 2007-го, если бы я знал дату смерти Моисея Рубинштейна.

Прошлым летом, там, в Ленинграде

Прошлым летом я, наконец, сподобился посетить место захоронения подруги моей, и жены в течение тринадцати лет, Натальи Медведевой.

В Петербург я явился на несколько дней для встречи с читателями, по поводу свежей книги «Дед». Осуществив эту очень успешную встречу в магазине «Буквоед», присутствовали чуть ли не пять сотен читателей, давка была ужасная, я на следующее утро обнаружил, что времени остался целый день и нужно было чем-то его заполнить.

И вот на роскошном автомобиле моего молодого приятеля Андрея мы отправились на Больше-охтинское кладбище. Одиннадцать лет прошло со времени трагической гибели Натальи, и среди нацболов не нашлось никого, кто знал бы место захоронения.

Поехали, что называется, наудачу. И сразу растерялись, поскольку обнаружили, что там целый город мертвых, рассеченный дорогами, по которым разъезжают живые. Когда наугад не получилось, я предложил справиться в каком-нибудь «могилоуправлении». Я образовал «могилоуправление» по аналогии с заводоуправлением и уточнил, что нам нужен главный вход в Большеохтинское и дирекция кладбища.

Довольно быстро мы нашли главный вход и «могилоуправление», расположенное недалеко от грустной часовни. Трое моих товарищей, охраняющих меня, я с ними прибыл из Москвы, остались возле домика с вывеской «Инventарь в прокат», а я и Андрей, стройный молодой человек в черном, прошли в молчаливое «могилоуправление» и поднялись на второй этаж. Там было ужасающе тихо и стерильно. Немножко убого.

Не удержавшись от абсурдного в данной ситуации «Эй! Кто-нибудь живой?» (это я, я воскликнул) и не получив ответа, мы обнаружили перед собой открытую дверь и за ней человека. Бледный человек сидел профилем к нам.

– Позвольте? – сказал я и переступил порог комнаты. И увидел, что там есть еще один живой. И если первый нами увиденный был сед и бледен, но не стар, лишь выглядел усталым, то второй живой был красен лицом, яркогуб и бородат. И животаст. Он как бы сползал с табурета.

– Здравствуйте, – сказал я. И не вызвал в них никакой особой реакции. Они лишь посмотрели на меня, не изменяя выражений лиц.

– Я ищу захоронение моей жены. Ее похоронили на площадь отца в 2003 году, то есть одиннадцать лет уже, а отец похоронен в 1958-м, умер через два дня после ее рождения.

– Певица, это та, которую из Германии привезли, – сказал яркогубый, обращаясь к бледному и ус та лом у.

Я не стал поправлять яркогубого.

– Подселенные, это вам нужно на главную аллею, мимо часовни, кажется, участок двенадцать, – почти прошептал бледнолицый. И добавил: – Мы ждали вас.

– Значит, от часовни, участок двенадцать? – повторил я.

– Да-да, мы помним, как ее привозили (яркогубый).

Бледнолицый молчал.

Когда мы спускались по лестнице, мы расслышали, что они возобновили свою бескровную беседу.

– Какие демоны! – воскликнул Андрей. – И они вас узнали.

– Я не понял (я).

– Узнали-узнали... Бледный сказал: «Мы ждали вас...»

– Это нужно было видеть, такие два демона там сидят, – сообщил Андрей нашим товарищам. – На людей лишь чуть-чуть похожие.

И мы заторопились мимо часовни по главной аллее. У часовни стоял поп в рясе с непокрытой головой и о чем-то торговался с обывателем.

Кладбище пахло, как пахнут подвалы со старыми соленьями, крепко солеными огурцами. Редкие люди встречались по двое, по трое, но, глобально говоря, было безлюдно. Кладбище старое, родственники в следующем поколении все перемерли, внуки и правнуки на могилы дедов и прадедов, как правило, не ходят. Потому безлюдно.

Проехал почти бесшумно крошечный тракторок с прицепом. В прицепе, свесив ноги наружу, сидели юноша и старик. Абсолютно безвольного вида. На нас они не обратили никакого внимания. Один сжимал грабли, другой – вилы.

Я взглянул вверх. Там деревья качали своими зелеными и кое-где уже желтыми шевелюрами.

Там, где главная аллея уперлась в поперечную аллею, на этом кладбищенском перекрестке спиной к нам стоял человек. Когда мы поравнялись с ним, он, лишь чуть повернув голову, бросил нам «Следуйте за мной!» и широким шагом рванул с места.

– Откуда вы знаете, что именно мы вам нужны? – спросил я уходящую спину человека.

– Мне позвонили. Певица. – И человек еще больше заторопился.

Мы переглянулись. На старом кладбище нам показалось невероятным, что существуют мобильные телефоны.

Мы уже шли минут семь-десять, когда он приказал нам остановиться. «Подождите. Я найду». И он боком протиснулся мимо бурой ели. Через некоторое время позвал нас.

– Идите. Она здесь, певица.

По темным папоротникам, мимо елей и старых лиственных деревьев, породы которых невозможно определить по причине их старости, ведь, когда негры стареют, они белеют, мы прошли к певице. Андрей и охранники остались чуть в стороне.

Стоячий камень из мраморной крошки и фотография. Веселая, с какой-то ленточкой на шее, она, пожалуйста.

– Здравствуй, Наташа!

Я рукою стер с верхней поверхности ее могильного камня пыль. Как по голове ее погладил.

Фотографии не могут улыбаться, но фотография как-то прояснела.

– Эх ты, нужно было быть осторожнее. Могла бы еще жить. Не с теми людьми связалась. Я вот тебе всегда лекции читал, и в них частым было слово «не понимаешь». Не понимала, дура, вот и достукалась, допрыгалась, добежалась... Лежи теперь тут!

Цветов мы купить не догадались, поэтому я сорвал большой лист папоротника и положил ей. Потом попросил Андрея сфотографировать меня с нею. Для этого стал на одно колено.

После стал выбираться на аллею.

– Она, я думаю, довольна сегодня, – сказал Димка. – Она вас ждала все эти годы. Только зачем вы ее душой назвали?

– А то она не дура?

Мы шли позади всех.

– А где этот проводник по подземному царству?

– Умотал. Растворился. От денег отказался, я ему совал, не взял. Пробормотал: «Не нужно это».

Кладбище еще крепче пахло старым рассолом огурцов. Вероятно, деревья корнями высасывают этот запах из могил и распространяют в воздухе через листья.

Федя

Когда все молоды, то веселы. С течением времени, когда оно, время, всю уже терзает тело и душу человека, обычно человеческое существо мрачнеет, становится печальней. Редкие экземпляры сохраняют способность неистово хохотать либо дерзко хамить в жизни. Лучше всех сохраняются успешные творческие личности.

Вообще мир стариков, к которому волей-неволей с некоторых пор принадлежу и я, можно сравнить со специальными помещениями в американских тюрьмах, где обитают приговоренные к смерти. Американцы называют такие помещения (коридор, камеры) – Death Row – смертельный ряд.

На рынках ведь есть молочный ряд, ряд зелени, свиной ряд, а у смерти свой. Вероятнее всего, Death Row – довольно мрачное место.

Мир стариков также – мрачный мир.

Жил человек, жил, разделял всеобщие страхи, и радости, и предрассудки и вдруг исчез из обращения, покинул веселый коллектив современности, осел в своей квартире, болеет, и приготовился умирать. Так как-то, видимо. А потом его выносят однажды, быстро кремируют, наследники спешно ремонтируют ячейку общества и туда заселяются новые жизни.

Надя была веселой, залихватски взбалмошной девушкой, всегда готовой к ночным попойкам и поездкам. Близкие звали ее «Федя». Она работала в веселом месте, где производят веселые мультипликационные фильмы. Она сотрудничала с талантливыми веселыми режиссерами, она была монтажером. Ее характеристику дал лет с полсотни назад один из ее веселых друзей. «Идеалом Нади является ехать в автомобиле, вмещающем пять человек, вдесятером и пить водку из горла». Я нахожу характеристику грубой, я никогда не видел Надю Феденистову пьющей суровый мужской напиток из бутылки. Что касается этого «ехать в автомобиле» – то в злую характеристику в данном случае проник действительный кусок реальности, Надя – отпрыск веселого и зажиточного семейства – привольно жила с сестрами и родителями в большом частном доме в поселке Немчиновка. Там всегда были рады гостям и ночь-полночь накрывали стол. Надя возила туда подгулявших друзей и товарищей и подруг регулярно. Поэтому «вдесятером».

Что она из себя представляла внешне. А она была тогда, в семидесятые двадцатого века, тип девушки, вполне себе современный для десятых годов двадцать первого века. Худенькая для того времени, высокая, костлявые коленки и плечи, худенькое смелое личико. До моего появления в Москве, то есть за пределами моего непосредственного обо зрения, она «тусовалась», как сейчас говорят, тусовалась со смогистами, ребятами из Самого Молодого Общества Гениев. В тот период, когда мы все познакомились, а это был 1968 год, она, насколько я помню, расставалась с художником по фамилии Недбайло, но еще не была знакома с моим будущим другом Димой Савицким, впоследствии они прожили вместе несколько лет.

Мне она нравилась, и если бы судьба распорядилась, мы бы возможно и столкнулись на узенькой дорожке личных отношений. Но так получилось, что она постоянно была подружкой моих приятелей, да и я был занят, вначале был мужем Анны, вывезенной мной из Харькова, затем любовником Елены, и, наконец, мужем Елены я улетел в другой мир. А Надя осталась с Савицким.

На мой взгляд, они были отличной парой. Он, западник, отличный кулинар, дотошный поэт и вполне расторопный журналист, чистюля, «аккуратист» (слово из словаря моей мамы). И она, легкомысленная и серьезная, немножко пьяница, веселая и скептическая, длинноногая и тонконогая. Каждый чуть разбавлял другого.

В ней, впрочем, было одно качество, несколько лишнее в ее характеристике. Она любила свою работу, любила свой коллектив, любила фильмы, которые они делали. Вопреки всем ее

личным привычкам к богемной жизни, Федя ни разу в жизни не прогуляла любимый творческий процесс. Вот это лишнее качество, очевидно, стягивало ее жизнь воедино. Ей нравилось быть частью «мы» вместе с талантливыми, так она считала, людьми. Видимо, они и были талантливыми, область мультипликационных фильмов для меня темный лес, поэтому не стану высовывать свой ядовитый язык в их сторону.

В комнате Дмитрия в Лиховом переулке все было красиво, скупо и функционально. Диван-тахта, обои, Watt-69 кирпичного цвета, музыкальная установка, любимый винил и кассеты. На самом деле у него уже тогда, ему было 25, когда мы познакомились, были замашки старого холостяка, чистюли и гурмана. Все-таки в чем-то они не съехались, она была бесшабашнее и честнее его, и открытей, и подлинней. Он живет сейчас где-то на окраине Парижа, говорят, растолстевший, разочарованный, выгнанный с «Радио Свобода», а она лежит на кладбище в Немчиновке. Почему разочарованный? Да как-то в Интернете я наткнулся на кусок его интервью, и в интервью присутствовал мрак и царила такая атмосфера неудачи, что я его пожалел. Было понятно, что он потерпел крушение в жизни. Долгие годы удовлетворялся солидным жалованьем журналиста, музыкального критика «Радио Свобода», ленился писать книги, а однажды его уволили и пришлось перебираться на другую ступеньку социальной лестницы. С улицы Железного Горшка в центре Парижа уезжать в пригород, и так далее, и тому подобное.

В 1974 году я улетел из России в самолете «Аэрофлота» в Вену. Надю-Федю я увидел только лет через тридцать с лишним. Случилось это так. Мне нужно было пожить на нейтральной территории. Я должен был нырнуть глубоко в гущу жизни, да так, чтобы меня не нашли менты. Связана была необходимость такого исчезновения с моей политической деятельностью. Это все, что я могу сказать о причинах.

Незадолго до возникшей необходимости я побывал в мастерской у художника «живописца Е.». У меня есть по этому поводу глава в моей книге «В Сырах», называется она «Майя / История одного черепа». Помимо «живописца Е.» – хозяйина мастерской, там оказались еще два моих старинных знакомых. Один из них, тот, у которого «борода лопатой», был мною опознан как смогист Саша Морозов. Мы тогда обменялись с ним телефонами. И он написал мне и свой адрес. Улица Королева.

И вот когда у меня появилась необходимость исчезнуть на несколько дней либо недель, я вспомнил о нем. Никому в голову не придет искать меня у бывших друзей сорокалетней давности. Да и кто знает о существовании божьей коровки – пенсионера, менты и ФСБ такими не интересуются.

Я приехал на улицу Королева и позвонил ему. «Здравствуй! – сказал я ему. – Я тут рядом с тобой, был в Останкино, могу подъехать минут через десять».

«Буду рад тебе, подъезжай, – сказал он. – Выпьем. Нади как раз нет еще с работы. Задерживается».

Он жил на первом этаже. Когда-то, много лет назад, он жил на той же улице, но на шестом. Обменял, наверное, жилплощадь.

Я позвонил. И попал в просторную аккуратную квартиру, полную книг, даже в прихожей были полки с книгами.

Ну, все как обычно в русских квартирах. Тебе дают тапочки, собаки не было, поэтому не рычал никто от полу и не терся линялой шерстью о штанины.

Прошли на кухню, такую ухоженную, с множеством растений, обои и занавеси на окнах гармонируют.

Чем занимаются старые люди, когда они встречаются? Ну конечно же, выясняют, кто помер из общих знакомых, а кто еще жив. На самом деле, это такое в общем бодрящее занятие, поскольку укрепляет в жизни. Оказывается, ты и я, мы пережили уже значительное количество наших друзей и знакомых современников. Возникает на короткое время даже некая иллюзия бессмертия. Одновременно появляется вера в некую божественную справедливость высших

сил, потому что оказывается часто, что неприятные тебе люди уже умерли, сметены с лица земли, а вот мы, ты да я да мы с тобой, все еще живы.

В то же самое время ты узнаешь что где-то в Париже или Лос-Анджелесе еще завалялся один, два или три неприятных тебе типа, что Юз Алешковский, пройдоха, все еще жив.

Я узнал от него, что художник Коля Недбайло очень болен, впрочем, я тотчас забыл чем, и живет в мастерской его матери. А Коля Недбайло, самый известный художник СМОГа, именно и привел к нам в нашу компанию Надю-Федю. Поговорили о Недбайло. Я вспомнил, как шел к нему в мастерскую его матери на Масловке, в это старое общежитие художников, и как нас встречали неодобрительные взгляды старых лахудр-художниц. Там были грязно-салатовые стены, как в тюрьмах, в которых мне пришлось сидеть позднее.

Смогист Саша Морозов вообще-то всегда меня оспаривал. Он был поклонником «гения» Володи Алейникова, а не моим. Володя, конопатый, рыжий парень довольно крупного телосложения, считался вторым по таланту гением СМОГа после Ленки Губанова, писал километрами стихи с необычными образами и сдвинутыми смыслами, я считал их бессмысленными. Посудите сами, вот типичное алейниковское четверостишие:

Табак, по-прежнему родной,
Цветет и помнит об отваге,
И влагой полнятся ночной
И базилики и баклаги...

Первые две строчки чистейшая заумь, о какой отваге помнит южноукраинский цветок под названием «табак», если существование памяти у цветов крайне сомнительно и никем не доказано?

Как-то я долго объяснял Морозову, что у Алейникова нет стихотворения, поскольку отсутствует смысл, он режет поток своего бормотания как колбасу, в условные куски. Потому я отказываюсь считать его поэтом.

Старательно запомнив мной сказанное, коварный Морозов в те годы, это был не то 1968-й, не то 1969-й, донес мой скепсис до Алейникова. Тот, зловеще улыбаясь, как-то осведомился у меня (мы уже выпили в тот день бутылок семь или восемь дешевого алжирского красного вина): «Так ты не любишь мои стихи, Эдька?»

Эдьке пришлось оправдываться. Как он выкрутился тогда, я уже не помню. Эдька ценил дружбу с Алейниковым, тот много читал и заражал своими открытиями и Эдьку. Так, от него я впервые услышал стихотворение Гумилева «Сентиментальное путешествие», которым имею счастье наслаждаться и сегодня:

Чайки манят нас в Порт-Саид,
Ветер зной из пустынь донес,
Остается налево Крит
И направо – милый Родос.
Дело важное здесь нам есть,
Без него был бы день наш пуст.
На террасе отеля сесть,
И спросить печеных лангуст...

Ой как классно. Как элегантно!

Помимо того, что он был отличным собутыльником, этот парень из Кривого Рога, он был женат на красивой девушке Наташе Кутузовой, и родители пары купили им однокомнат-

ную квартиру на улице Бориса Галушкина. В этой квартире можно было заночевать; уезжая из Москвы, Алейников оставлял квартиру нам, его друзьям. Эдька как-то выкрутился от обвинений в том, что «ты назвал мои стихи нарезанной колбасой».

– А то нет, Володя, – думал Эдька. – Если ты закрываешься в ванной и через пару часов выносишь написанные 48 стихотворений, то их качество, этих произвольно нарезанных, все то же – «родной табак помнит об отваге».

«Алейников живет в Коктебеле, получил украинское гражданство, построил там дом, многие ездят к нему отдыхать», – сообщал скучным голосом Саша Морозов. – «Пьет?» – «Не особо, после того, как у него был инсульт...»

Через некоторое время голос Морозова перестал быть скучным, пришел сосед с бутылкой водки. Водку он вытащил из пальто в прихожей, только когда убедился, что Нади нет в доме.

Сосед, отставной военный, сообщил, что много обо мне слышал от Александра, что жена Саши – Надя, – строгая женщина, и разлил водку. После пары рюмок Морозов повеселел и повел меня показывать мои же ранние произведения из его коллекции. Произведения были мастерски оформлены в твердые переплеты, обтянутые цветастым ситцем. И сорок лет тому назад Морозов тщательно коллекционировал произведения друзей и оформлял их в переплеты и ситец.

Они перелистали страницы при молчаливом одобрении отставного военного. Тот, по всей вероятности, испытывал пиетет к культуре.

Федя позвонила, когда мужчины начали думать о том, что следует приобрести еще бутылку водки. В век мобильных телефонов можно избежать таким образом скандалов. Муж и жена о чем-то поговорили. Отставной военный собрался и убежал.

– Надя все-таки сейчас придет, Эдик, – сказал Морозов, добравшись из большой комнаты, куда ушел разговаривать с женой. – Она не хотела идти, сказала: «Не хочу, чтоб он видел меня старой».

«Вот еще», – (это я).

«Ты ведь был влюблен в Надю, Эдик», – улыбаясь, сообщил Морозов и стал наблюдать за моей реакцией на его слова.

«Вот еще, – отреагировал я. – Федя нам всем нравилась, была подругой моего друга Савицкого, у нас не было случая с нею».

«Вот-вот, – пробормотал Морозов, – не было случая».

Когда она открыла дверь своим ключом, то мы вышли в прихожую. Морозов взял ее сумки, а я чуть приобнялся с ней и мы поцеловали друг друга в щеки.

Странно, но она почти не изменилась. Морщины не в счет, но не изменился силуэт, вряд ли она стала хоть на килограмм тяжелее. Волосы, возможно, подкрашенные, были гладко и скромно зачесаны назад и затянута сзади в милый хвостик. На ней было черное пальто с меховым воротником: такой шоколадного цвета короткий мех. Выглядела она пуритански. Ненакрашена. Морозов уже успел сообщить, что Надя сделала несколько фильмов для Патриархата.

Стала доставать продукты, выкладывая их на стол. Как полагается в России: сыр, колбаса, шпроты, розовые зефиры, бутылка вина.

Когда Морозов написал мне свой телефон и телефон Феде, долго переспрашивал при этом у нее цифры, между супругами прорвалось скрытое доселе недоброжелательство.

«Что ты там возишься, Саша, неужели ты думаешь, Эдик будет тебе звонить? У него вон сколько занятий и забот... Загляни в компьютер...»

«Мы старые друзья, отчего бы нам не встретиться. К тому же Эдик всегда был в тебя влюблен...»

«Да, конечно, – подтвердил я. – Если бы не Козлик и не Савицкий, мы могли бы быть вместе».

Она застеснялась: «Старая я уже для таких речей...»

Я заторопился, поскольку стало как-то неловко. Я даже и мысли не допускал теперь, чтобы спросить их, могу ли я у них тут спрятаться на несколько дней, в их глубоком прошлом.

В прихожей она сказала мне: «Пить Сашке нельзя не потому, что он пьяница, просто у него был уже сердечный приступ. А тут как назло он спелся с Георгием Ивановичем, сосед у нас такой, отставной военный».

«Понимаю».

Мы поцеловались, как умные и сдержанные брат с сестрой.

В автомобиле сидевшие охранники рассердились.

«Что же вы не позвонили, что вы выходите? А если бы мы отъехали...» Охранники вернули его из прошлого в настоящее. В настоящем было очень хорошо. Морозно.

Где-то через пару лет ему позвонил Морозов. «Эдик, Федя умерла. Завтра отпевание в Сретенском монастыре в 9 утра. А потом все поедут на кладбище в Немчиновку».

Я не смог поехать на отпевание, хотя и хотел. Помешали какие-то серьезные препятствия.

Вот так вот. Рядом с нами всю жизнь люди. Мы входим с ними в отношения различной степени близости. Вначале они умирают время от времени, а потом умирают серийно, пачками. Никакой морали извлечь из смертей невозможно. Разве что каждая смерть – это практическое доказательство отсутствия бессмертия.

Таких больше не делают

Повернусь влево. Аккуратный, с зализанными седыми волосами, снял щегольское пальто, черное с белой искрой, словно у лондонского адвоката, раскрыл щегольскую папку и рассматривает ксероксы, бумаги, бумажник – адвокат Борис Алексеевич Тарасов, в прошлом следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР. Красноватое лицо, громкий голос полковника.

Повернусь вправо – круглая ежом голова, скулы бывшего боксера, убежденный левый коммунист, товарищ мой по «Стратегии-31», по Триумфальной Костя Косякин. Твердый и негибачаемый кадр, узел шарфа под кадыком развязывает.

Как живые. А ведь нет их. Ушли один за другим в 2013-м.

Несколько лет подряд они сопровождали мою жизнь и сидели рядом со мной в зале Тверского суда у судьи Черновой, 1-й этаж суда, налево и последняя дверь справа, маленькой невозмутимой женщины, нам не удалось выиграть ни одного процесса по Триумфальной у этой хрупкой женщины. А судились мы с московской мэрией. Но никто не выигрывал у московской мэрии в те годы, в 2009–2013-х.

Настоящий советский полковник

Адвокат Тарасов Борис Алексеевич.

Не так давно мне звонила экзальтированная женщина и напустилась на меня за то, что я, который на кремации Бориса утверждал, что никогда не забуду его, не проявляю ни малейшей заботы об оставшихся от Тарасова бумагах. «Там есть ваши книги, вами подписанные, – осуждающе звучала эта женщина. – Там, в конце концов, есть бумаги, где упоминаются ваши личные данные – номер вашего паспорта, ваш адрес наконец... – негодовала она. – Неужели вы не хотите это забрать?»

«Может и хотел бы, добрая женщина, но некуда. Когда у меня один за другим умерли родители, я взял себе только фотографии, от отца его полевую сумку, от матери мне осталось несколько простыней и верблюжье одеяло с аистами. А что до моих личных данных, то копии моего паспорта имеются, возможно, во всех ОВД Москвы, отпечатки пальцев в нескольких странах.

А что же его родственники, почему они не проявили интерес к бумагам?»

«Не проявили, – согласилась женщина. – Там, среди бумаг, есть материалы по делу ГКЧП, он ведь был одним из следователей, Борис, почему они никому не нужны?»

Я посоветовал ей сдать вещи адвоката Тарасова в музей и дал ей телефоны музейных ребят. Не знаю, преуспела ли она в своем желании сохранить тарасовское наследство.

Я понял всю брэнность земных накоплений еще в 1976 году в Нью Йорке, когда стал работать с белорусом Петькой, у того был грузовик, в качестве грузчика. Американцы более безжалостны к материальным свидетельствам жизни умершего человека, чем мы, русские. Они бесцеремонно вытряхивают содержимое оставшихся им от родственников квартир. Складывают в картонных ящиках на обочину тротуара фотографии, письма, документы, книги. Я уже тогда потерял сентиментальность, чуть ли не сорок лет назад. Единственная возможность сохранить как-то следы близкого тебе человека в твоей жизни – это память. Удобный инструмент для реконструкции прошлого.

Уж не помню, где мы его изначально достали, адвоката Тарасова. Но это точно произошло где-то около 2003 года. Тогда я вышел из тюрьмы и жизнь партии оживилась. Многочисленные акции партии приводили все большее количество активистов за решетку, и нам требовалось множество адвокатов. Кажется, Тарасов впервые появился на процессе семи нацболов, совершивших 2 августа 2004 года захват кабинета Зуратова в Министерстве экономического развития – Минэкономразвития.

Не уверен, что мы ему платили. Или же, если платили, то, видимо, копейки. Я припоминаю его на сборищах адвокатов, которые я стал устраивать в моей квартире в Сырах, на Нижней Сыромятнической улице, 5, в доме – архитектурном памятнике. Мы занимались в моей убитой пролетарской квартире тем, что приводили хоть к какому-то единообразию позицию защиты семерых заключенных. Адвокат Варивода, адвокат Орлов, адвокат Аграновский, адвокат Тарасов, адвокат Сирожидинов и прочие. Уже в декабре 2004-го, после неожиданного, яркого и дерзкого захвата приемной Администрации президента, адвокатов стало вчетверо больше. Потому что если по захвату Минэкономразвития семеро нацболов были посажены за решетку, то по захвату Администрации за решетку попали еще 39 человек. Впоследствии их судили весь 2005 год и они сидели в железных клетках в Никулинском суде.

Опять-таки, я не очень помню, платила ли партия адвокатам? Возможно платили какие-то родители. Отдельным адвокатам передавал деньги я.

Адвокаты приводили адвокатов. В «Процессе тридцати девяти», я помню, Сергей Беляк защищал нескольких наших девочек и привел еще адвоката Степанова и свою помощницу, как ее звали? Черт, позабыл...

Адвокатская контора «Аснис и партнеры» участвовала в защите нацболов по захвату Минэкономразвития. Я знаю почему, фирму обязал поучаствовать один известный человек. Но вот уже в защите «тридцати девяти» фирма «Аснис и партнеры» не участвовала, вероятнее всего, известный человек переменял свое мнение о нас. Я особо не расстроился. Пожал плечами, и все. «Хозяин – барин», «ничто не вечно под луной» – пословицы и поговорки успокаивают.

А Борис Алексеич остался. Когда началась «Стратегия-31», он сказал мне: «Эдуард Вениаминович, не стесняйтесь. Если вас схватили, а они теперь вас хватают, едва завидят, звоните мне. Ночь-полночь – я приеду».

Я не то чтобы послушался его. Так само собой получилось. Из оставшихся при нас адвокатов, из верных нам (Варивода получил два наследства на Украине и переехал туда, адвокат Сирожидинов изучил каббалу и ушел не в ту степь) мне случилось звонить из ОВД адвокату Аграновскому, тот живет в Московской области, и по его тону было слышно, что не только далеко ему ехать, но и неохота. То же самое с адвокатом Орловым, тоже живет в области, родил ребенка. Сергей Беляк в те годы застрял в Сибири, занимался делом «братских» ребят. Так что оставался Борис Алексеевич.

Он появлялся в ночи, прикатив на своем стареньком, но роскошном «лексусе» с блатным номером 001, легкий шарфик, галстук в прорезь шарфика, лондонское пальто в белую полосатую искру, тонкие ботинки с чуть загнутыми вверх носками. И мне сразу становилось спокойно. «Добрый вечер, товарищ полковник!»

Менты его уважали с первого взгляда. Face control и dress-code действовали безошибочно. Именно так, по мнению ментов, должен выглядеть серьезный адвокат. Не какой-нибудь хлюпик из хипстеров, окончивший юрфак, а матерый отставной полковник милиции, юстиции и чего-то там еще – астрологии.

«По какой статье?» – деловито спрашивал Тарасов. Зычный его голос заставлял подтягиваться даже самых расхлябанных сержантов милиции. Было ясно, что приехал начальник, что приехал свой, а то, что он адвокат, это уж, ну что, где только не может оказаться отставной милиционер.

Вряд ли Борис Алексеевич мог влиять на уже принятое где-то в верхах (под этим «в верхах» подразумевалось место, где принимались в отношении меня решения, а его можно было определить лишь приблизительно) решение. Но его присутствие оберегало меня от эксцессов милицейских, пока они не привыкли ко мне. Его присутствие, зычный голос и его одеколон размещали предметы и людей на свои места.

Он был на самом деле не хухры-мухры. В крематории он был скрыт от нас крышкой гроба, но, наверное, слышал, женщина из его родного Томска поведала, каким он был честолюбивым, талантливым и обаятельным уже студентом. Как его все девки хотели. В городе Томске.

Окончив там в Томске то, что нужно было окончить – юридический, он попер вверх, да так быстро, что оказался самым молодым следователем по особо важным делам Генпрокуратуры СССР. Он работал со знаменитым следователем Гдляном, хотя и не одобрял методов его работы по «узбекскому делу». Занимался он и делом ГКЧП, допрашивал, если не ошибаюсь, Лукьянова. На пенсию он почему-то ушел раньше времени. Я никогда не спросил его, почему, я вообще не из тех, кто задает множество вопросов, захочет человек – скажет сам, тем ценнее будет признание.

В известном смысле мы с ним дружили. Ну, не то что встречались ежедневно, но он несколько раз приезжал ко мне с водкой и красной рыбой. И мы разговаривали по многу часов,

останавливаясь на некоторое время, чтобы удивиться, надо же, такие разные, он мог бы быть моим следователем за некоторые мои дела, а вот, сидим с водкой.

Поразмыслив над ним еще при его жизни, я пришел к выводу, что Тарасов такой себе тип настоящего советского милиционера, «следака», как говорят в народе, таких уже не делают, человека без подлости и подножек.

У него была маленькая слабость. Иногда он звонил мне и спрашивал что-нибудь пустяковое. Начинал: «Эдуард Вениаминович, вот тут вопрос возник. Вот мы сидим тут с Никитой (следовало отчество) Симоняном и не можем вспомнить... Подскажите».

Или же он звучал так: «Эдуард Вениаминович, вот я сижу тут с двумя красивыми татарками... И у нас вопрос возник. Ваша вторая жена – Наталья? Или второй была Елена?»

Это он мной хвалился красивым татаркам, а мне – знаменитым футболистом Никитой Симоняном.

Маленькая слабость. Ментам в ОВД он иногда (а несколько раз и по моей просьбе) доставал и показывал какое-то особое пенсионное удостоверение полковника милиции. Менты дивились.

Он обижался, если я обходился при задержании на Триумфальной без его услуг.

– Ну что же вы, Эдуард Вениаминович, мне не позвонили вчера вечером. Я до часу ждал. Специально не пил ничего, чтобы за руль сесть.

– Не хотелось вас беспокоить, Борис Алексеич. Менты все знакомые, подвоха от них не будет. Все всё понимают.

Весной что ли 2013-го, ближе к лету, он куда-то пропал. Потом мне прислала СМС Зайка – девушка – нацбол, которая у нас взяла на себя несуществующий отдел «свадьбы-похороны». Умер адвокат Борис Тарасов... Кремирование состоится...

Оказалось, он как кот, собравшийся умирать, ушел от людей в свою квартиру и не выходил. Однажды его заметила во дворе та соседка, которая впоследствии беспокоилась о судьбе его бумаг. «Он увидел меня и юркнул в подъезд, – вспоминала она. – На звонки в дверь он двери не открыл. Я постояла немного у двери, спросила соседей, они сказали, что давно его не видели. Обыкновенно вылизанный, его “лексус” стоял во дворе пыльный».

Затем обнаружился запах. Когда дверь вскрыли, то зрелище было не для слаонервных. На лице его, в месиве лица, копошились мухи и черви. Потому кремировали его в закрытом гробу. Людей собралось очень много. Одних адвокатов несколько десятков. По завершении церемонии за окнами, на зеленой траве колумбария появились трое полицейских (уже их переименовали в полицию), двое мужчин и одна девушка. Выставив карабины под углом в небо, они отдали последнюю дань Борису Алексеичу Тарасову, полковнику милиции.

Гроб стал опускаться под мужественную советскую военную песню.

На выходе из зала колумбария Зайка раздала всем по куску блина, вынимая их из пластикового контейнера. Чтобы мы помянули покойного.

Константин Юрьевич

Для «Левого фронта» он был необычно пожилой человек. Коротко, то есть под ноль, остриженный под машинку, за четыре года, которые мы с ним союзничали, его щетина на голове из ситуации «salt & pepper» перешла в ситуацию снежного поля. Его изгнали из КПРФ за необычно радикальные для КПРФ взгляды в 2004 году. Он пошел вначале в «Авангард коммунистической молодежи». И затем пошел в «Левый фронт», где его взяли. Я думаю, что и для «Левого фронта» он был too much – слишком радикален, уж точно был более радикален, чем все известные лица – руководители «Левого фронта»: чем Илья Пономарев, Алексей Сахнин и Дарья Митина, эти были почти что левые либералы, и Костя был много более радикален, чем самый известный вождь «Левого фронта» – Сергей Удальцов.

Я признаюсь также, что в некоторые моменты Константин Юрьевич Косякин был даже радикальнее меня, а это кое-что значит.

Родился он в 1947-м, то есть на четыре года позже меня. По профессии был горный инженер.

В возрасте 30 лет уже работал в Министерстве угольной промышленности, как человек толковый, был и главным специалистом, и строил угольный комплекс в зоне Байкало-Амурской магистрали.

Мало кому известно, что многие годы Костя занимался боксом, чуть ли не профессионально, тренировал ребят, был бесстрашным и сильным бойцом, и в 2003–2010-м не раз расшвыривал тренированных солдат 2-го оперативного при задержании.

Поскольку он был человек скромный, многие факты его биографии так и остались неизвестны нам.

В 2009-м «Левый фронт» прислал его представителем в Оргкомитет «Стратегии-31». Сергей Аксенов вспоминает: «Помню, когда мы собирали оргкомитет “Стратегии-31”, Сергей Удальцов позвонил и сказал, что от них, от “Левого фронта”, будет некто Косякин. “А он нормальный?” – спросил я, имея в виду, возможно ли с ним иметь дело. Константин оказался “нормальнее” многих. Он в загон не ходил».

«Загоном» мы, нацболы, именовали огороженную полицией площадку на Триумфальной площади, куда, сговорившись с Владиславом Сурковым и продав нас, двоих заявителей «Стратегии-31», согласилась прийти 31 октября 2010 года на разрешенный мэрией митинг Людмила Алексеева, право-защитница, чтоб ей пусто было, потому что это она несет на себе вину за охлаждение либеральных масс к «Стратегии». Тогда все либеральные вожди по шли в загон: Рыжков, Немцов, Лев Пономарев, всякие Доброхотовы, Чириковы, Рыклины, Яшины, и даже некрепкий Сергей Удальцов, но только не Константин Косякин. Он вышел с нами на оставшуюся часть площади на несанкционированный митинг. Кремень, а не человек.

Он предвидел, что старуха нас предаст. Еще при первых признаках ее колебаний, еще в 2009-м, он сказал мне, когда я пожаловался, что Алексеева предложила мне передать «Стратегию» правозащитникам: «Эдуард, то ли еще будет... Мы еще с ней натерпимся». И точно. Натерпелись.

Как-то, подав уведомление в мэрию, когда именно это было, кажется, в январе или марте 2010 года, я подвозил его в «Волге» до метро, я обратил внимание на то, что он сильно исхудал, и спросил его: «Вы что, больны, Константин?» Он сказал: «Да, неважно себя чувствую. В 2006-м была операция, и так себя хорошо после чувствовал. Но вот опять. Дай Бог до лета дожить, – добавил он неожиданно грустно. – Поеду болеть, домой».

«Пусть вам супруга фруктов купит», – мы уже доехали до метро «Охотный ряд», поворачивали.

«Умерла жена, – сказал Константин. – Один живу».

«Может, вам привезти чего, ребята приедут, помогут».

«Да не нужно ничего, спасибо. У меня дочь и сын взрослые. Дочь недалеко живет».

И, поправив сумку на плече, натянув шапку, он вышел из «Волги».

«Заболел Костя», – сказал я, обращаясь к нацболам в машине.

«Ребята из “Левого фронта” говорят, что рак у него. Умрет, наверное, скоро», – обыденно сообщили нацболы.

Однако Костя выкарабкался тогда. Дожил не только до лета 2010-го, но и дожил и до лета 2011-го, и 2012-го, и умер только в августе 2013-го.

Впрочем, в январе 2011-го, когда мы – я, он, Яшин, Немцов, Владимир Тор, Демушкин – оказались в спецприемнике на Симферопольском бульваре, он был еще очень плох, загибался просто. Сергей Удальцов: «Больного, по сути дела, человека, с проблемами со здоровьем, немолодого, отправили за решетку. Это, конечно, чудовищно, на мой взгляд. Все эти 10 суток его состояние здоровья было, конечно, далеко от нормального, к нему два раза приезжала скорая по его просьбе, потому что было ухудшение здоровья, боли в желудке довольно сильные. По сути дела, это была такая форма пыток».

Удальцов неточен, потому что его в те дни в спецприемнике не было. Я был, поэтому свидетельствую, что Константин не просил вызывать ему скорую. Это мы, его сотоварищи, потребовали вызвать скорую, что менты и сделали с некоторым даже похвальным рвением. Человек он был скромный и лежал себе тихо, загибаясь, зеленый весь. Более или менее подробно эта ситуация расписана у меня в моей книге «Дед».

Летом 2011-го мы стали проводить сидячие митинги на Триумфальной в июле и августе. Константин к тому времени уже был так силен, что после июльской сидячки просто так в руки особого полка не дался, разбросал их, и только под давлением превосходящих сил вынужден был уступить.

Думаю, что каждый день его начинался с борьбы с его больным так или иначе телом, а затем он отправлялся на фронты политической борьбы. Помимо «Левого фронта» он входил в организацию «Моссовет» и в «Рот-фронт» и твердо и не опаздывая посещал все их акции. «Моссовет» защищал от сноса поселок Речник, московские дворы от застройщиков, архитектурные памятники от сноса. И везде стоял в первых рядах Косякин.

Я не пою ему панегирик. Я видел неслышимого Костю в деле. На Триумфальной яростно кричащим и отбивающимся – и на видео и фотографиях бодающимся с полицией и ЧОПами. Это была его жизнь. В шестьдесят пять лет он вел себя моложе многих молодых.

Когда он лег уже в Боткинскую на его финальном отрезке борьбы с телом, я положил себе за правило звонить ему регулярно. Это, знаете, тяжелая задача, говорить со смертельно больными. Но в его случае задача облегчалась тем, что я сообщал ему новости о нашей политической борьбе. Он живо реагировал, и яростные ноты в его голосе не исчезли.

Однажды я не мог ему дозвониться ни по одному телефону, и уже решил было, что его не стало. Однако он позвонил мне сам на следующий день и сообщил, что его на весь день увозили на какие-то процедуры.

Умер он в августе, когда природа готовится к ежегодной смерти. В садике у морга Боткинской больницы собралось немыслимое для обычных похорон количество людей. Пряно пахли травы и пахли цветы и венки. Церемонию долго не начинали, и когда мы протиснулись в зал для церемонии прощания, нас оказалось слишком много.

Вдоль гроба несколько женщин растянули флаг «Левого фронта» – красный, разумеется.

В гробу лежал не Косякин. Человек, совсем даже не похожий на него. Страшное лежало существо. Черты лица его были мелкими, рот – огромен. Лицо как будто залили жидким стеклом. Это был не он, и даже не человек.

Я понял, в чем дело. Смерти, чтобы победить его, пришлось так изъесть его изнутри, что она заменила его собой. Мы произнесли речи. Я произнес свою, скорее, очень эмоциональную. Основные положения моей речи я нашел недавно в Интернете. Я сказал:

«Ушел упрямый, сильный, честный, советского производства человек. Человек твердых убеждений и твердых принципов. У него была совесть, у него присутствовало достоинство... Я потерял верного товарища».

Однажды в Будапеште

Агроном

Я пропустил его смерть, а он был для меня важен. Дело в том, что еще в СССР у меня образовался такой небольшой пантеон иностранных «гениев», загадочных, непонятных и потому притягательных.

Я помню, что когда симпатизировавший мне журналист Matthieu Galey пригласил меня на обед, это был, по-моему, 1983 год, меня познакомили с показавшимся мне обычным коротышкой-буржуа, седовласым и добродушным, тот протянул мне руку и вполне обычно произнес: «Жак Одиберти», я вздрогнул. Я помнил, что читал об этом типе в книге советского журналиста, может быть, Жукова, о литературном Париже и как там не по-марксистски выпендриваются. Тот Жак Одиберти из разгромной критической книги сидел в кресле, мрачный как дьявол, на руке у него была грубая рукавица, а на рукавице сидел нахохлившись большой птица, то ли сокол, то ли орел, то ли стервятник с огромным клювом.

– Я о вас читал еще в Москве, – сказал я Жаку Одиберти. И он был польщен. Польщен был и я, так как все собравшиеся в тот вечер на обед в мою честь читали меня, благодаря пригласившему нас хозяину квартиры, жаль, что он рано умер тогда от AIDS.

Луи Арагон был жив, когда я приехал в Paris, у меня даже было письмо к нему от прославленной Лили Брик, но к Арагону я не попал, по-моему, это Жан Риста, его душеприказчик, не звал Арагона к телефону, когда я ему звонил несколько раз. А потом Арагон умер, а я подружился с Риста и его ревью Digraphe. Свел нас товарищ Рекатала, коммунист с испанской кровью.

Жан Жене, это уже гений без кавычек, жил в ту пору в Paris, однако встретиться с ним не было возможности. Он спустился на дно, спрятался, обозленный на Францию, в дешевых арабских отельчиках. Официальная Франция его прокляла за его engagement на стороне палестинцев, а он в свою очередь проклинал официальную Францию.

Перебравшись в Paris, я первым делом спросил у появившихся у меня издателей Жан-Жака Повэра и Жан-Пьера Рамсэя, Жан Жене ведь жив? Как с ним можно познакомиться? Оба уныло покачали головами. Он жив, но общество делает вид, что его нет.

В 1986-м Жан Жене умер в захудалом арабском отельчике в Paris – вот как повествует о его конце французская Википедия: «15 апреля 1986, один и съдаемый раком горла, писатель неловко упал ночью в комнате 205, в Jack's Hotel, номер 19, авеню Stephen-Pichon в Париже, и умер».

Когда он умер, французская власть немедленно оприходовала его славу и его гений. Министр культуры того времени Джек Ланг бросился в Jack's Hotel. Однако ненависть Жене к Франции была столь велика, что он завещал похоронить себя на старом испанском кладбище LaRache в Марокко. Мне заказали его некролог. Журнал Revolution.

А вот с Роб-Грийе мы пересеклись в 1987-м в Будапеште. К этому я успел.

Нужно признаться, я был разочарован. Предо мною предстал седобородый, вполне дружелюбный, разговорчивый мужчина, сопровождаемый знаменитой его подругой Jeanne de Berg. Вот она, злая, в сигаретных клубах, имевшая в прежние времена славу сексоманки и извращенки, произвела на меня большее впечатление. Постаревшая и помрачневшая, она сохранила тайну.

В Будапешт нас всех созвала долговязая Ann Getty, жена старшего, если не ошибаюсь, сына старого нефтяного магната из Америки, сына звали не то Роберт, не то Ричард. Ann

Getty возглавляла в те годы Wheatland Foundation, и ее хобби была литература. Очень высокая, думаю, она была выше 185 сантиметров, с очень правильными чертами свежего лица, намекающими на операции plastic-surgeon, Анн без устали собирала литературные конференции в столицах Восточной Европы, я побывал по крайней мере на двух, в Вене и в Будапеште. Еще Анн стала владелицей издательства Grove Press и тем загубила его. Поставив во главе издательства старика Weidenfeld'a, липового лорда, потому что никаким лордом он не был, получил лорда за бог весть какие заслуги, в СССР сказали бы: «по благу». Урожденный в еврейской семье в Вене еще до войны, Weidenfeld, став издателем Grove, с энтузиазмом взялся издавать книги своих стариков-приятелей о любимом городе Вене, чем, на мой взгляд, и разорил издательство. И ведь какое! Так, они первые в USA издали «Тропик Рака» Генри Миллера.

Возвращусь к Алену Роб-Грийе. Итак, Будапешт, 1987 год, отель Hilton. В Будапеште уже был отель Hilton, но еще стояли советские войска. Конференция была интернациональная, где-то восемьдесят литераторов со всех стран мира, даже писатели из Индии, и среди них даже писатель-сикх в тюрбане. На той конференции я умудрился совершить несколько скандалов, нужно сказать, что эффект скандала происходил от того, что мои вполне себе справедливые воззрения на тот или иной предмет истории или политики сталкивались с неправильными, ханжескими, недостоверными воззрениями моих коллег.

Далее я, может быть, расскажу об этих скандалах, если не забуду.

С Роб-Грийе же мы сблизились как раз после этих скандалов. Хорошо, вот тезисно, что это были за скандалы, раз уж они вызвали интерес мэтра «нового романа» ко мне. Для начала я, как холодный северный ветер, ворвался в их теплое собрание во время речи Нобелевского лауреата Чеслава Милоша. Когда тот стал клеймить позором СССР за пакт Молотова – Риббентропа, я напомнил ему, что еще в 1935 году Германия и Польша заключили подобный пакт, и что в 1938 году Польша участвовала на стороне Германии в разделе Чехословакии и захватила тогда район Щецина.

Второй скандал, это когда я дал по голове бутылкой из-под шампанского британскому писателю Полу Бэйли. Бэйли стал кататься по полу, выкрикивая, что его убивают, а на меня набросились многонациональные писатели. Помню, что мне на помощь пришел суровый американский парень в ковбойской шляпе и ковбойских сапогах, фамилии его не помню, знаю, что он жил в пустыне.

Где был в этот момент Ален Роб-Грийе, понятия не имею, но после этой драки в холле отеля он и его Jenne de Berg подошли ко мне и заговорили. К нам присоединился еще тогда совсем молодой французский еcrivain Jean Echenoz. Так, кажется, он пишется.

Помню эпизод, когда мы катим куда-то в автобусе, на некую экскурсию, вот не помню, какую и куда, записались среди прочих писателей. Автобус полупустой, вероятно, эта экскурсия не привлекла большинство писателей.

Я сижу у окна. Пара Роб-Грийе – впереди. Эшеноз – рядом. Рядом, оказалось, едет защитного цвета открытый газик. В нем двое военных: водитель и офицер. Офицер курит сигарету.

Роб-Грийе поворачивается: «Ваша Красная Армия. Оккупанты», – улыбается он.

Вглядевшись в офицера, я, наконец, понимаю, что это советский офицер. На нем нет фуражки и ветер свободно треплет его волосы.

Внезапно я чувствую прилив воинственной гордости. «Да, это наша армия». Офицер докуривает сигарету и бросает окурочек. Окурочек уносит ветер. На автобус он не обращает внимания.

Дальше я помню, что мы стояли у какого-то пахучего дерева и Роб-Грийе, добрый и бородатый, объяснял нам, что это за дерево и чем оно знаменито.

Из нескольких коротких бесед с Аленом Роб-Грийе я внезапно понял, что наш Бродский весь вышел из него, из Роб-Грийе. Это Роб-Грийе сформулировал впервые идиому, что Родина писателя это язык. Бродский щеголял этой идиомой всю свою жизнь.

Все большие люди, признаюсь, неизменно разочаровывали меня при личных встречах. То же самое случилось и с Роб-Грийе. Он показался мне слишком добрым. И потому сразу же перестал быть моим героем. Потому что герой не может быть добрым. Подумайте сами, и придете к выводу, что я прав.

Мы обменялись телефонами с агрономом Роб-Грийе. Я помню, несколько дней надеялся, что они мне позвонят, и, возможно, в конце концов я расширю свои знания о французских растениях. Этого не случилось, звонок не последовал. Тогда я набрал их сам. Ответила мне Jeanne. Мы недолго поговорили. Но так и не встретились. Помню, кто-то из знакомых предостерег меня от встречи с парой. Дескать, они захотят войти с тобой в отношения “*menage a trois*, Edouard...”

С Jean Echenoz я встретился в Paris. Возможно, я был ему интересен. Мне он был умеренно интересен. У меня были друзья в издательстве *Dilettante*, и в журнале *Digraphe*, и в журнале *Actuel*, и в издательствах *Ramsay* и *Albin Michel*. Вскоре к ним прибавились совершенно офигительные и офонарительные новые друзья из *L'Idiot International*. Больше количество друзей-писателей я переварить не мог бы.

Так что с Echenoz дружбы не получилось. По той же причине не получилось сближения и со знаменитым когда-то Роб-Грийе. К тому же, к тому времени он был уже порядком подзабыт. Я думаю, в 1980-е в Paris я был намного известнее его.

Умер он в 2008 году в Кан, а не в Каннах. Я уже долгое время жил в России, основал партию, отсидел в тюрьме. Мир его праху, он так увлеченно рассказывал о пахучем дереве, под которым мы стояли.

Великий польский

Чеслав Милош умер еще раньше. В 2004-м. Поскольку речь только что шла о литературной конференции в Будапеште в 1987-м, где я упомянул Чеслава Милоша, то есть смысл сразу вспомнить и о нем.

Это был красивый и такой величественно-царственный старомодный господин. Он приехал в Будапешт с женой, красивой, юной и злой блондинкой.

И вот мы сидим в зале, что называется, идет всеобщее пленарное заседание.

Уже выступил советский Витя Ерофеев, тогда еще сообразительный, хитрый и ловкий молодой человек, заготовивший «весьма актуальный» по времени доклад на острую тему. Я не берусь утверждать, что это была тема «Две или одна русские литературы?». Но в любом случае, какой бы ни была тема доклада, она умеренно щекотала заспанные нервы мировых писателей. У Вити Ерофеева всегда был дар эксплуатировать рискованные темы, делать вид, что рискует, но ничем не рискуя. Такой же дар за поколение до Вити Ерофеева был у Евгения Евтушенко, тот щекотал модные темы: из гроба у него телефонировал Сталин, потом была Братская ГЭС и мама и водородная бомба, и Евтушенко никогда ни за что не страдал. Так и Витя Ерофеев.

Чеслав Милош, видимо, был такой же психотип. Казалось бы, какого горького хрена на конференции в перестроечный год 1987-й вспоминать в своей речи пакт Молотова – Риббентропа и тыкать СССР носом в то, во что его все тыкали, да еще и он себя сам последние несколько лет тогда тыкал. С истеричным покаянием. Но Чеслав Милош взялся метать громы и молнии в СССР. Он стоял на кафедре и оттуда, с этой трибуны, поучал собравшихся.

Мы сидели, все восемьдесят, с виду спокойные, перед каждым такой черный росток микрофона. Нажав красную кнопку, ты мог говорить на весь зал. Меня залило волной такого жара, я уже не мог дальше слушать, что он несет, этот Нобелевский лауреат.

– Позвольте напомнить уважаемому Нобелевскому лауреату, что Польша еще в 1935 году заключила с Германией пакт, подобный пакту Молотова – Риббентропа... – начал.

В зале поднялся шум. Я, держа обеими руками микрофон с подставкой, продолжал. Говорил, что Польша с удовольствием участвовала в растерзании Чехословакии вместе с Германией. Что в Польше к 1939 году существовал фактически национал-социалистический режим, унаследованный от национал-социалиста маршала Пилсудского.

Что тут началось! Я недаром держал руками подставку микрофона, так как у меня пытались его вырвать. Раздавались возмущенные крики. Меня окружили журналисты, солидный и седой господин из The New York Times изумленно повторял: «Скажите, это правда, что вы сейчас сообщили? Это правда?»

– Это общеизвестные факты мировой истории, – холодно сообщил я и отпустил наконец микрофон.

– Вы согласны дать мне интервью по этому поводу? – спросил мистер «Нью Йорк Таймз», – готовы? Да? Давайте выйдем...

В это время ведущий, перекрикивая крики, объявил перерыв и я вышел с «Нью Йорк Таймзом» в холл. Там нас обступили и с интересом и недоверием слушали каждое слово.

Дело в том, что литераторы – как правило, это сочинители романов – люди простые и недалекие. Их знания истории не выходят за пределы общепринятых мифов. Мое знание истории превышало в те годы значительно уровень общепринятых мифов. Я читал такие книги! Пользуясь тем, что живу в стране, где всякие книги доступны (во всяком случае, были доступны в те годы), во Франции.

После перерыва Милош уже не продолжил свою речь. Непонятным осталось, сам ли он отказался продолжать, или его попросили не делать этого, но слово предоставили Адаму Михнику. Известный во всем мире сподвижник Леха Валенсы, главный редактор газеты «Солидар-

ность» признал, что я прав: «К сожалению, я должен признать, что позорные эпизоды польской истории, о которых упомянул мистер Лимонов, действительно имели место быть. Пакт, известный в истории под названием “пакт Пилсудского – Гитлера”, был заключен в Берлине 26 января 1934 года. Более того, когда в марте 1935 года умер маршал Пилсудский, Гитлер и Геринг приезжали на похороны. И да, мы вторглись в Чехословакию в 1938 году вместе с Германией и Венгрией. И экспроприировали район Щецина, с развитой тяжелой металлургией».

Михник помолчал. «Когда Пилсудский умер, в Третьем Рейхе был объявлен трехдневный траур».

Михнику было явно не по себе. Но что ему оставалось делать? Что до меня, то я был, разумеется, доволен тем, что устроил им такое. А то, видите ли, выступают в роли обличителей...

По прошествии лет мне кажется, что Милош тогда выступил неспроста. Не в результате эмоционального порыва. Мне кажется, он тогда уже замыслил вернуться из Америки в Польшу (что он и сделал в 1993 году), и зарабатывать себе польское гражданство вот и этой своей ненужно поздней антисоветской речью. Ведь хотя он и получил Нобелевскую премию по литературе, однако это случилось уже достаточно давно, в 1980 году. Вернуться на Родину и пожать плоды трудов, занять место крупнейшего национального поэта, удостоенного всех возможных премий, – вот что стало его целью, я полагаю. Ему надоело мыкаться по американским университетам, читать лекции вечно туповатым американским студентам.

К тому же он, мне кажется, не был совсем так уж уверен в себе и своих заслугах. Нобелевскую премию ему дали в год апофеоза движения «Солидарность» в Польше, а это именно 1980 год, как бы поощрили и Польшу, и поляков, а годом ранее по той же причине папой римским стал поляк Войтыла.

В 1987-м Милошу было уже 76 лет, на минуточку, в 76 лет хочется признания заслуг.

Конференция в Будапеште закончилась тем, что кто-то из остроумных организаторов придумал отправить Милоша, его злую красотку и меня в аэропорт в одном такси. И он, и я выдержали роли джентльменов до конца. Красотка, у которой не было такой задачи, то несмело, то агрессивно порывивала на меня. Но мы, общими усилиями, ее нейтрализовали.

Зачем я спелся с ним в этом такси? А черт его знает. Возможно, потому, что не люблю растаптывать противника до смерти. Я удовлетворился тем, что победил нокаутом в поединке с ним, а затевать перебранку, встретившись в такси (или в трамвае), противоречит моим убеждениям.

Кажется, он летел в Беркли, не сразу, а из Лос-Анджелеса. Я себе летел в Paris. Мы поговорили о Лос-Анджелесе, о Беркли, он знал профессора Карлинского, и мы тут немного на профессоре остановились. Я вспомнил эпизод, когда на лекцию Карлинского явились мрачные черные революционеры, это были годы расцвета движения хиппи, и потребовали прекратить пропаганду буржуазного искусства. На что Карлинский, бравый, с голой головой, сын русских эмигрантов, заявил, что как раз читает лекцию о революционном русском поэте Владимире Маяковском: «Садитесь, товарищи, послушайте». И прочел собравшимся перевод «Левого марша» с знаменитым возгласом «Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер!».

Смущенные черные революционеры удалились, призвав профессора продолжать.

«Какие ваши книги мне стоит прочесть?» – спросил Милош, когда я помог паре дотащить их чемоданы до прилавка регистрации. Я назвал ему мои три книги, изданные к тому времени в Америке.

Прикрываемый женою, он величественно проследовал мимо венгерских таможенников со своим американским паспортом. Если бы у них были хвосты, они виляли бы хвостами.

Источники повествуют, что, вернувшись в Польшу в 1993 году, поэт был награжден высшей польской наградой – орденом Белого Орла, ему были присуждены все мыслимые польские литературные премии.

Умер Чеслав Милош в невыносимом возрасте 93 лет, в 2004 году, и похоронен в «крипте заслуженных» в церкви Святого Станислава, в городе Кракове.

Куда делась злая жена, я не в курсе, без понятия. Дожила ли с ним, или ушла по дороге. Ясно только, что если она жива, то она уже давно не молодая. Ей как минимум лет пятьдесят пять. Так что, что нам до нее, женщины в таком возрасте никого не интересуют.

Советские песни над Дунаем

Раз уж я о Будапеште, так там был еще один мужик, русский критик Владимир Лакшин. Вот не помню, где он был во время драки, упомянутой мной выше, но наша с ним встреча там, в Будапеште, имела далеко идущие последствия в моей литературной судьбе.

Я прозевал его смерть в 1993 году, не до него было, год был не из легких, но вот теперь восполню свою невнимательность и просчет.

О Лакшине известно, что Лакшин был заместителем главного редактора журнала «Новый мир» во времена Твардовского, что он приветствовал повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и его рассказ «Матренин двор». Вероятнее всего, это Лакшин и притащил «Один день Ивана Денисовича» в «Новый мир», и убедил Твардовского опубликовать свежее и талантливое произведение. Я не солженицыновед, я не знаю.

В конце будапештской конференции, кажется, это называлось круче: «Дни мировой литературы» – писателям устроили отходную. Повезли на пароходе по Дунаю. Я не уверен, что все писатели отправились на пароходе. Когда я вспоминаю этот вечер, переходящий в ночь, я почему-то не помню ни Пола Бэйли, ни итальянцев, и даже Витю Ерофеева не помню, но вдруг вижу себя и мужика в очках, лет на десяток старше меня, мы сидим на плюшевом красном узком диванчике уже очень пьяные и горланим советские военные песни – и Гражданской войны, и Великой Отечественной. И на нас испуганно и враждебно глядят вышколенные офицеры. Буквально так вот, выглядывая из кухни, что ли. Во всяком случае, из подсобного помещения, туда-сюда в это помещение и из него они бегали с подносами, они испепеляют нас взорами. Еще боящиеся, русские еще на их земле (вы помните эпизод с автобусом и долго ехавшим рядом с автобусом советским военным открытым «газоном», вы помните офицера с сигаретой, приоткрыв окно над собой, я тогда услышал запах простецкой «Шипки» без фильтра), еще боящиеся, но уже ненавидящие.

Помню, что дружелюбно на нас смотрели только индийцы и сикх в чалме. Русская делегация (кроме Вити Ерофеева я никого не запомнил) куда-то делась. Они были там, я уверен, но они не хотели признавать нас своими. Я, впрочем, был членом французской делегации.

Мне тогда почему-то спяну представилось, что он, как он отрекомендовался, «Владимир», фронтовик, хотя он не мог им быть, рожденный, как выяснилось позднее, в 1933 году, не мог никак.

Он мне сказал: «Ты знаешь, что самые страшные бои в конце войны шли не за Берлин, а за Будапешт. Тут столько наших солдатиков полегло! Ты песню знаешь “Нашел солдат в широком поле травой поросший бугорок”? Так там есть такая строчка: “и на груди его светилась медаль за город Будапешт...”» И мы с ним запели про солдата, выпивающего на могиле жены.

О чем-то мы с ним договаривались. Он совсем не представлял себе, кто я такой. А я совсем не представлял, кто он такой.

Однако, через некоторое время, меня единственный раз в жизни пригласили в министерство культуры Франции. Так как приехала советская делегация. Среди прибывших из Москвы значился знакомый мне хорошо поэт Геннадий Айги, поэт Андрей Вознесенский, его жена Зоя Богуславская, поэт Евгений Рейн. Я пошел. Ничего такого особенного не случилось. На самом деле случилось, но я этого не знал. Ко мне подошел человек, назвавший себя Владимиром Маканиным: «Критик Владимир Лакшин просил меня взять от вас рукопись, о которой вы ему говорили в Будапеште. Про послевоенные годы. Мы уезжаем через неделю. Вот вам адрес отеля, где нас поместили».

Я вспомнил своего партнера по страстному исполнению советских песен на пароходе, плывущему по Дунаю, припомнил, как мы с ним сходили на берег по трапу и как я поддерживал его, потому что он хромал и мог свалиться в воду. Память моя нехотя выдавила послед-

ную сцену. Я действительно обещал ему послать рукопись только что написанной тогда самой небольшой моей книги «У нас была Великая эпоха». Тот Володя обещал мне опубликовать мою книгу, если она ему покажется.

– А что, этот Володя действительно может книгу опубликовать? – спросил я.

– Это очень влиятельный критик. Появление в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» – его рук дело, – сообщил мне незнакомец Маканин.

– Спасибо, – сказал я. – Рукопись доставлю, только копию сделаю.

Копию я сделал. Рукопись доставил.

В 1989 году «У нас была Великая эпоха» была напечатана в журнале «Знамя».

В декабре 1989-го я прилетел в Москву по приглашению Юлиана Семенова. Поселился в гостинице «Украина». Посетил журнал «Знамя». Со мною встретились главный редактор Бакланов и его зам Чупринин. Сотрудница журнала Шохина взяла у меня интервью. Вот только «Володю», хромого Лакшина, увидеть мне не удалось. По какой причине, я не помню. Возможно, он был болен или в командировке.

В журнале мне выдали гонорар. Две тысячи с чем-то рублей. Огромная сумма по тому времени. Я, помню, прятал эти деньги в разохшейся деревянной обшивке гостиничного номера в старой дряхлой «Украине», так как таскать их с собой было опасно. Деньги скорее стали для меня тогда обузой, о них нужно было заботиться.

Жрать в гостинице было нечего. В буфете за какие-то копейки продавали красную икру на вес, и я ел ее, давась, с крутыми яйцами. На второе я обычно покупал страшно твердую салями, и жевать эти резанные кружки было даже больно челюстям.

Интересно, что когда я вот сейчас попытался найти на сайте журнала «Знамя» месяц публикации в журнале моей повести «У нас была Великая эпоха», я не нашел никакого следа этой публикации. Не было там и моей фамилии, и фамилии Лакшина.

И все же мы не зря там пели над Дунаем честные советские песни. Хороший был дядька. Правильный. Вот что он писал в последней своей статье «Россия и русские на своих похоронах»:

«...мне почему-то хочется, чтобы к понятию русского – русского характера, русской культуры, русской литературы – относились хотя бы с минимумом уважения и справедливости. В изнурительной полемике “патриотов” и “демократов” все более поляризуются ценности либерального “цивилизованного мира”, западного понятия о свободе – и представления как об исходной ценности о своей стране – отчизне, родине. Эта дилемма мне кажется ложной. Я не мыслю родины без свободы, но и свободы – без родины. Тем более что Россия, по моим наблюдениям, не собирается без времени отдавать Богу душу, рассеиваться по другим народам и терять имя. Судя по всему, она и на этот раз переживет критиков, примеривающих по ней траур. Катафалк заказывать рано».

Похоронен на Новодевичьем кладбище. Нужно будет сходить.

Мэри

Это были веселые парижские дни! Сейчас также случаются веселые и чудесные дни, вот, например, вчера весь день шел пушистый, отчаянно белый снег, и на ветви лип, куда выходят окна двух моих комнат в центре Москвы, налипла сказка! Но тогда в Париже, в 1980 году летом, я был молод, и только в мае приехал в Париж, и книгу у меня купил Жан-Жак Повэр для издательства Жан-Пьера Рамсэя, и случилось это по адресу 27, Rue de Florus, улицы, ведущей от Люксембургского сада к бульвару Распай.

Сами эти слова: «бульвар Распай, Rue de Florus, 27, бывшая мастерская американской писательницы Гертруды Стайн, имена моих издателей Жан-Жак, Жан-Пьер – все повергало меня в восторг.

В Люксембургском саду в 80-е годы на теннисных кортах можно было увидеть невысокого молодого мужчину с хорошо развитой мускулатурой. Всякий раз, когда я проходил через Люксембургский сад, а я одно время бывал там чуть ли не каждый день, подходил к мускулистому парню и ждал, когда он доиграет, и ненадолго задерживался, чтобы побеседовать. Это был мой друг журналист и писатель Дмитрий Савицкий, мы были знакомы с 1970 года, и дружба наша прервалась в 1974 году, когда я улетел в Вену, а потом – в Соединенные Штаты, так как в те годы только две страны предоставляли эмигрантам из России политическое убежище: Соединенные Штаты и Канада.

Я улетел, Савицкий остался в СССР, но потом и он уехал, заключив брак с парижанкой из рода старых эмигрантов Ольгой Потемкиной. Дмитрий всегда был парнем практичным, уехал по-умному, сразу в приятную во всех отношениях Францию, которая эмигрантам из России убежища не предоставляла, предпочитала сниться им во снах. Не все у Дмитрия в Париже сладилось. Так, явившись на адрес своей супруги Ольги и позвонив в дверь, Савицкий был встречен большого роста грубияном, который, узнав, что Дмитрий приехал из СССР к жене Ольге, посоветовал ему убираться побыстрее, пока «я не спустил тебя, русский, с лестницы».

Впоследствии Ольга объяснила Дмитрию, что считала свой брак с ним фиктивным, что она всего лишь помогла симпатичному русскому парню, поэту, уехать из скучной советской России. Савицкий пострадал немного, поскольку влюбился в шикарную с хриплым голосом Ольгу, но пережил.

Это Дима, Димочка, Дмитрий Савицкий, симпатичный, обаятельный, с русой густой челкой, прыгавшей у него на лбу, пока он играл в теннис, познакомил меня с литературным агентом Mary Kling.

Случилось это вот как. В ноябре 1980 года вышла в Париже моя первая книга «Это я, Эдичка». Во французском варианте мы назвали ее «Русский поэт предпочитает больших негров». «Мы» – это в первую очередь я, поскольку в кабинете Жан-Пьера Рамсэя я увидел книгу фотографий Мэрилин Монро под названием «Джентльмены предпочитают блондинок», а остальные компоненты добавили Повэр и Рамсэй. Книга вышла в ноябре и наделала много шума. Впрочем, она успела наделать шума еще и до своего выхода, летом, потому что несколько глав ее были опубликованы в «Сэндвиче» – приложении к популярной газете Liberation. Я стал звездой и ко мне немедленно прилипли люди, люди ведь прилипают к каждой звезде. Все это было хорошо, это было отлично, ко мне приходили журналисты, из окна моей студии на Rue de Archives я мог видеть мою книгу, выставленную в витрине магазина Mille Feuilles (тысяча листьев), но у меня кончались деньги. Я истратил пять тысяч долларов, привезенных из Нью-Йорка и те тысячи франков, которые получил от Повэра – Рамсэя.

Я было предложил имевшуюся у меня рукопись второй моей книги «Дневник неудачника» Повэру – Рамсэю, но издатели сообщили мне, что хотят дождаться финансовых резуль-

татов продажи «Русского поэта», и вообще, мне следует знать, что во Франции не принято издавать книги каждый год.

Я приуныл, потому что в самолете PAN-AM, летевшем из Нью-Йорка в Париж, я поклялся себе, что отныне буду жить только на литературные труды. И, пожалуйста, сбой. В мрачном настроении я пошел в Люксембургский сад, намереваясь выпить с Савицким вина. Я не ожидал, что он решит мою проблему. Возможно, и он не ожидал. Он сказал, что познакомит меня со своей литературной агент-шей, Мэри Клинг, Le Nouvelle Agence совсем рядом, только выйти из Люксембургского сада, агентство рядом с театром «Одеон», на одноименной короткой улочке.

Нужно сказать, что в те годы французские писатели не пользовались услугами литературных агентов. Не было такой традиции. Литературные агенты во Франции, пусть и в незначительном количестве, существовали, но они не работали непосредственно с авторами, а в основном продавали книги иностранных писателей во Францию и французских писателей в зарубежные страны от агента к агенту, минуя авторов.

Впрочем, если импорт зарубежных авторов процветал, французы традиционно переводят большое количество иностранцев, то экспорт шел плохо. А Mary Kling, бывшая журналистка журнала L'Express, работала с авторами. Савицкий с ее помощью издал антипутеводитель по Москве и повесть «Вальс для К.», так, кажется, называлась его книга.

И вот, в один из летних дней прямо после тенниса, Савицкий, в белых брюках, в модных кроссовках на липучках, с модным рюкзачком на плече, из рюкзачка торчит ракетка, и я пришел в Le Nouvelle Agence, во дворе, на второй этаж. Лестница винтовая натерта вкусно пахнущей мастикой.

В агентстве нас встретили девушки и Савицкий обменялся с ними их «*Ca va?*» на его «*Ca va bien*». На меня взглянули любопытные несколько пар глаз. Из своего задымленного кабинета именно в этот момент вышла маленькая, худая, очень загорелая горбоносенькая женщина. «Димитри, comment ca va?» А Димитри отвечал, что вот, Мэри, я привел тебе парня, о котором я тебе говорил.

Я не знаю, чем я подошел Мэри. И спросить уже нельзя, потому что умерла она. Возможно, поскольку я вдруг стал известен, она рассчитывала, что будет меня продавать без особых усилий. Тут следует сделать поправку на то, что книжный бизнес вообще не очень приносит прибыль. И издатели не особо обогащаются, и авторы не очень, если только не продаются сотнями тысяч. Посему я думаю, я ее привлек своей энергией, верой в свою литературную судьбу, работоспособностью, таким себе ореолом русского Джека Лондона. Савицкий, тот был помягче, человечнее меня и, я думаю, выглядел слабее со своими кулинарными способностями, аккуратностью, тренажерной мускулатурой.

Мэри привлекла своей работоспособностью, железной бульдожьей хваткой, суровой, не женской манерой жить и управлять небольшим коллективом из девушек. Без особого труда Мэри устроила мою книгу «Дневник неудачника» в издательство Albin-Michel, но книга вышла не в 1981-м, как я бы хотел, а в 1982 году.

Без особого труда, я пишу, потому что литературным директором Albin-Michel был в те годы Иван Набоков, племянник знаменитого писателя, сын его брата Николая, композитора. Вероятно, во всяком случае, может быть, Мэри была какое-то время любовницей Ивана, а может быть – нет, но их дружба была заметна.

С другой стороны, «Дневник неудачника» расценивается профессионалами как одна из моих лучших книг, потому ничего удивительного в том, что после известности моего первого романа «Русский поэт...» такую классную книгу охотно взяли.

Тут следует еще подчеркнуть тот факт, что продавать русский текст во Франции в десятки раз сложнее, чем туземный, французский. Туземный ведь не нуждается в переводе, а русский – нуждается, а это – дополнительные затраты. Я уже не помню, сколько они мне заплатили

тогда, все мои договора давным-давно мною потеряны, однако я получил какую-то сумму и мог жить дальше.

Мэри оказалась до крайности полезной мне, бравому молодому волку. Савицкому она тоже была полезна, но он едва производил одну книгу в несколько лет, а я как пошел их производить: только в 1981–82 годах я написал, кажется, пять книг.

У Мэри были отличные связи в Германии. Это она продала в Германию «Русского поэта» издательству «Шерц». Иностранские права, да, купили у меня Повэр с Рамсеем, она же выступила в качестве агента Рамсея для Германии.

Я продал «Русского поэта» в Соединенные Штаты сам, а в Италию, в страны Скандинавии и прочие – это Мэри.

Когда она уезжала, ну там, на Франкфуртскую ярмарку или еще куда, еще подымаясь в агентство по лестнице, можно было понять, что Мэри нет в Париже. Играла музыка, девки бездельничали за кофе, раздавался громкий хохот. При Мэри это было бы немислимо, они бешено стучали на машинках, таскали стопками книги или мчались по лестнице на задание, ломая каблук.

Дверь в кабинете Мэри обычно была приоткрыта, и оттуда выползали тяжелые и густые клубы табачного дыма. Бывшая журналистка L'Express курила мужские сигареты, то Gitane, то Gauloise.

У меня странным образом сохранились через годы и сквозь войны и тюрьмы две позаимствованные мною в Le Nouvelle Agence книги: «The New Mercenaries», автор Anthony Mockler, и «The Revolutionary mystique and terrorism in contemporary Italy» by Richard Drake.

Я взял их у Мэри для прочтения, чтобы не потерять в Париже мой английский. Ну разумеется, я ориентировался на их привлекательные для меня названия. Получилось, однако, так, что эти две книги также сориентировались на меня и сумели внушить мне каждая свои ценности. Годами они стучались в мою душу и добились того, что сформировали меня: «The New Mercenaries» сделали так, что я в 90-е подружился со всеми вооруженными bad boys европейского континента, от полковника Костенко до знаменитого сербского воина Аркана, а в 1993-м я сам стал на некоторое время mercenary в Книнской Краине.

«Revolutionary mystique» толкала и втолкнула меня в радикальную политику.

Книги, оказавшие, может быть, наибольшее влияние на мое формирование в мои у же зрелые годы, эти две, я подобрал у Мэри, через нее, в аккуратненьком Le Nouvelle Agence, зеленые ворота которого выходили на здание театра «Одеон». В летние дни, когда движение автомобилей в Париже становилось неплотным, выходя из ворот двора, где помещалось Le Nouvelle Agence, можно было услышать детские визги из Jardin de Luxembourg. Париж тех лет был спокойный и сладостный, но книги, уловленные мною от Мэри, сообщали тревогу и беспокойные будущие времена. Вначале в судьбе России и моей собственной судьбе, а затем в судьбе всего мира.

Нашей наилучшей сделкой, моей и Мэри, была продажа тоненькой рукописи моей книги «У нас была Великая эпоха» в издательство Flammarion за целых 120 тысяч франков. По тем временам, когда соотношение франка к доллару было пять к одному, сумма в 24 тысячи долларов представлялась грандиозной, да, собственно, и была грандиозной. Мэри вела переговоры с грозной теткой Франсуаз Верни, известной как деятель гениев, она тогда только что изготовила для всеобщего потребления юного гения Александра Jardin(a), и у Мэри было много надежд, что она превратит в пусть уже и не юного гения меня, я уже был известен как outstanding writer, так называла меня Мэри.

«Фламарион» издал «У нас была Великая эпоха» под более скромным названием «La Grande Epoque». Они, правда, попутались с обложкой, поместили на нее солдат эпохи революции и Гражданской войны, тогда как в книге речь идет об эпохе после Второй мировой войны, но это не было бедой, перевод был хороший.

Беда состояла в том, что мои товарищи по радикальной газете L'Idiot International, где я был членом редакционного совета и одним из ведущих журналистов, опубликовали такой себе скотологический, в высшей степени оскорбительный памфлет о Франсуаз Верни, и моя «La Grande Epoque», как следствие, не имела успеха, потому что издательство ее не продвигало, и осталась единственной изданной мною тогда с «Фламарион» книгой. Друг моих друзей, я остался с L'Idiot, хотя моя индивидуальная литературная судьба была бы счастливее, если бы я принял сторону старухи Верни.

Верни умерла еще раньше Mary Kling, но я, поскольку уже не жил во Франции, не знаю, когда это случилось, и не могу даже составить для нее индивидуальный некролог. Это была разбитная толстая тетка с вечной сигаретой и грубым матросским голосом. Она была похожа чем-то на российскую Новодворскую, с тем различием, что ее сферой деятельности была литература и литературная жизнь.

В баре, по-моему, назывался «Парфенон», это был цивильный бар в одноименном отеле в центре Парижа, я помню, они сидели. Mary и Франсуаз Верни, и хохотали над моим французским. «La Grande Epoque» еще не вышла из типографии, а я спешил продать «Фламариону» свою новую рукопись: эссе «Дисциплинарный санаторий», по просьбе Мэри я изложил синопсис моей книги, которая уже была написана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.